

Максим Горький

**БЫК**



Максим Горький

**Бык**

«Public Domain»

1935

## Горький М.

Бык / М. Горький — «Public Domain», 1935

«Деревня Краснуха приобрела быка. Это случилось так: выйдя в отставку, сосед Краснухи, генерал Бодрягин, высокий, тощий старик, с маленькой головой без волос, с коротко подстриженными усами на красненьком личике новорождённого ребёнка, жил года три смирно, никого не обижая, но осенью к нему приехал тоже генерал, такой же высокий, лысый, но очень толстый; дня два они, похожие на цифру 10, гуляли вокруг усадьбы Бодрягина, и после этого генерал решил, что надобно строить сыроварню, варить сыры. Богатым мужикам Краснухи это не понравилось – они дёшево арендовали всю пахотную землю генерала, 63 десятины, а беднота – приободрилась в надежде заработать. Так и вышло: генерал немедля нанял мужиков рубить лес, начал строить обширные бараки, всю зиму весело и добродушно командовал, размахивая палкой, как саблей, а во второй половине апреля скоропостижно, во сне, помер, не успев заплатить мужикам за работу, – деньги платил он туго, неохотно...»

## Максим Горький

### Бык

Деревня Краснуха приобрела быка. Это случилось так: выйдя в отставку, сосед Краснухи, генерал Бодрягин, высокий, тощий старик, с маленькой головой без волос, с коротко подстриженными усами на красненьком личике новорождённого ребёнка, жил года три смирно, никого не обижая, но осенью к нему приехал тоже генерал, такой же высокий, лысый, но очень толстый; дня два они, похожие на цифру 10, гуляли вокруг усадьбы Бодрягина, и после этого генерал решил, что надобно строить сыроварню, варить сыры. Богатым мужикам Краснухи это не понравилось – они дёшево арендовали всю пахотную землю генерала, 63 десятины, а беднота – приободрилась в надежде заработать. Так и вышло: генерал немедля нанял мужиков рубить лес, начал строить обширные бараки, всю зиму весело и добродушно командовал, размахивая палкой, как саблей, а во второй половине апреля скоростижно, во сне, помер, не успев заплатить мужикам за работу, – деньги платил он туго, неохотно.

Становой пристав, распорядясь похоронами, погнал мужиков провожать гроб с генералом на станцию железной дороги, а в усадьбе, ожидая, когда кончатся поминки, остались трое отменно жирных: староста Яков Ковалёв и приятели его Данило Кашин да Федот Слободской. Поминало Бодрягина немного людей, человек шесть, но поминали шумно, особенно гремел чей-то трескучий, железный бас, то возглашая «вечную память», то запевая «Спаси, господи, люди твоя», причём однажды он спел не «спаси», а «схвати», и все громогласно смеялись.

Потом на крыльцо вышел, с трубкой в руке, сильно выпивший наследник Бодрягина, тоже военный человек, коренастый, черноволосый, с опухшим багровым лицом и страшно выпученными глазами. Он грузно сел на ступеньки и, не глядя в сторону мужиков, набивая трубку табаком из кожаного кошелька, спросил грозно, басом:

– Вы чего тут мнётесь, а?

Староста, согнувшись, протянул ему подписанные Бодрягиным счета и стал осторожно жаловаться, а наследник смял бумажки, скатал их ладонями в комок и, бросив в лужу, под ноги мужиков, спросил:

– Сколько?

– Восемьдесят семь целковых, – сказал Ковалёв.

– Ни хрена не получите, – тяжело качнув головой, заявил наследник. – Именье заложено, инвентарь будут с аукциона продавать, а у меня – денег нет, да и не за что мне платить вам! Поняли? Ну и ступайте к чертям.

Тогда заговорил Данило Кашин; он умел говорить много, певуче и как-то так, что заставлял всех и всегда молча ждать: вот сейчас он скажет что-то очень важное, хорошее и всё объяснит, всё разрешит. Так случилось и с наследником; он тоже минуты две слушал молча, попыхивая зелёным дымом, страшные глаза его потускнели, стали меньше, и наконец он сказал:

– Будет, растаешь! Возьмите быка, его в подарок дяде прислали, он в инвентарь ещё не вписан. Берите и – к чертям болотным!

Кашин тихонько шепнул старосте:

– Брать надо, брать!

Но староста и без его совета принял предложение военного человека как закон. А Слободской, мужик тяжёлый, большой, угрюмый, взглянул на это дело, как на всё в жизни.

– Всё едино, – сказал он, – берём.

И вот привели быка в деревню, привязали его к стволу черёмухи, против избы Ковалёва; собралось человек двадцать мужиков и баб, уселись на завалинке избы, на куче жердей против неё. Бык – огромный, чёрный, точно вырезан из морёного дуба и покрыт лаком, толстоголовый, плосколобый, желторогий – стоял неподвижно, только уши чуть заметно шевелились.

Красноватые ноздри на тупой его морде широко разведены в стороны, и от этого морда кажется свирепой. Большие выпуклые глаза покрыты влажной сизоватой пленой; бык тихонько пофыркивает и смотрит сосредоточенно, как бы надумывая что-то. Смотрит он за реку, в луга, там сероватый покров снега мелко изорван чёрными проталинами и сквозь снег торчат ржавые прутья кустарника.

Люди, неодобрительно разглядывая быка, молча слушают рассказ Ковалёва. Он человек среднего роста, крепкий, с миролюбивой улыбочкой на румянном лице, с ласковым блеском в голубоватых глазах; он говорит мягким, гибким голосом добряка и приглаживает ладонью седоватые, редкие волосы, рассеянные неряшливо по щекам, подбородку, по шее.

– Так, значит, и сказал, – докладывает он, – «берите и – больше никаких, а то, говорит, я вас...» Ну, он – военный, с ним не поспоришь, да мне, старосте, с начальством спорить и не полагается. Конечно, животная эта наших денег не стоит...

Ковалёв говорил виновато. По дороге из усадьбы в деревню он, глядя, как медленно шагает бык, подумал, что, пожалуй, староват бык, да и слишком тяжёл для мелких деревенских маток, ломает их.

Немедленно после старосты заговорила мужеподобная, большеротая, толстогубая вдова железнодорожного сторожа Степанида Рогова.

– Немошный он, – сердито сказала она густым голосом. – Глядите, – яйца-то высохли. Вмешался Кашин.

– Ты, Степаха, брось! Ты знай свои, куриные...

На эту тему заговорили все мужики, и так, что бабы начали плевать, кричать:

– Эх, бесстыжие рожи! Охальники! Ребятишки слушают вас. Постыдились бы детей-то, черти безмозглые!..

А Рогова, гневно сверкая красивыми глазами, точно чужими на её грубом лице, кричала Кашину, напирая на него грудью:

– Говядина! Говядина и – больше ничего!

На неё тоже закричали сразу несколько мужиков и баб:

– Будет тебе орать! Эх ты, халда! Заткни глотку, эй!

Деревня не любила Рогову за её резкий характер и за скупость; не любила, считала чужим человеком и завидовала ей. Муж её был путейским сторожем, и ему «всю жизнь судьба везла», как говорили мужики. Года три тому назад ему удалось предупредить крушение поезда, пассажиры собрали для него 104 рубля да дорога наградила полусотней рублей. Вскоре после этого, в половодье, переезжая на лодке Оку, утонул его брат с женой и сыном; тогда Рогов послал Степаниду хозяйствовать в Краснухе на землю брата, а сам ещё на год остался работать на дороге, да вскоре, спасая имущество станции во время пожара, сильно ожёгся и помер от ожогов. За это дорога выдала Степаниде 100 рублей. Женщина заново перестроила избу деверя, обратила в батрачку свекровь, – старуху, счастливую своей глупостью и деловитостью снохи, купила лошадь, корову, завела пяток овец, дюжину кур, с весны до покрова держала батрака и открыто жила с сельским стражником Прохором Грачёвым, недавно арестованным за «нанесение увечья» пастуху деревни Выселки. Всего этого было слишком достаточно для того, чтоб Рогову не любили, но это её не смущало, и, не обращая внимания на злые окрики, она упорно твердила в лицо Кашина:

– Ему – сто лет, быку, сто лет!

Кашин, коренастый, коротконогий, с бритым солдатским лицом, толстыми усами и тёмными глазками медведя, человек исключительной физической силы, отмахиваясь от неё, уговаривал Рогову весёлым тенорком:

– Ты погоди, не бесись! Какое твоё дело? Чего теряешь, чего выиграть хочешь? Нам дело решить надо: продавать его али оставить да на случки пускать? Он – породистый.

Рогова всё насканивала на него, выкрикивая:

– А ты, а ты чего добиваешься, ну-кошь? Ну, скажи...

– Кормов не оправдает, – крикнул кто-то.

Марья Малинина, повитуха и знахарка, сытенькая старушка, маленькая, точно подросток, в чёрной юбке, аккуратно, с головы до поясницы, закутанная в серую шаль, заговорила, покачивая головой:

– Верно, не оправдает кормов. И ухода потребует, очень много ухода надобно за ним...

Тихонько подошёл учитель, молодой человек в огромных серых валенках, в городском пальто, с поднятым воротником, в мохнатой шапке, надвинутой на глаза, погладил круп быка и сказал сиплым голосом:

– «Жвачное млекопитающее, из семейства полорогих».

Кашин громко удивился:

– Чего это? Бык – млекопитающий?

– Именно.

– А ещё чего соврёшь?

Учитель подумал и сказал:

– Любит соль.

– А конфетов не любит? – спросил Кашин.

Рогова, толкнув учителя локтем в бок, продолжала кричать:

– Ты, двуязычный, молчи, не мешай! Пускай они, деловики наши, развяжут узелок этот...

Встал с завалины староста, бросил на землю окурок, растёр его ногой и заговорил:

– Ну, пора кончать, покричали сколько надо! Теперь вопрос: у кого держать быка?

Все замолчали, а Кашин, оглянув народ, сорвал с головы своей шапку, хлопнул ею по широкой своей груди и удало сказал:

– Видно, мне надобно брать его. Ладно, я готовый миру послужить. Хлевушок надобно ему, так вы дайте мне жёрдочки и хворост из Савёловой рощи...

Учитель передвинул шапку на затылок, открыл серое, носатое лицо с большими глазами в тёмных ямах, испуганно спросил:

– Как же это, господа миряне? Дерево назначено на ремонт школы, хворост – на топливо мне, я же сам хворост рубил, сам укладывал.

– Не пой, Досифей, не скули, – попросил Кашин, пренебрежительно махнув на него рукой.

– Нет, вы школу не обижайте, – говорил учитель, покашливая. – Ведь ваши дети в ней учатся, не мои.

– А им наплевать на детей, – сказала Рогова. – Тебя до чахотки довели и детей перекубят...

– Экая вздорная баба! – удивился Кашин. – Не всё я возьму, Досифей, не плачь! Иди с богом на своё место, ты тут несколько лишний...

Учитель снова надвинул шапку на лицо, закашлялся неистово и, сплёвывая на землю, изгибаясь, пошёл прочь. За ним последовала Рогова, но через несколько шагов обернулась, крикнув:

– Облапошит вас Кашин, глядите!

Кашин, усмехнувшись, помотал головой и вздохнул:

– Ещё разок хрюкнула...

Все молчали. Только староста и Кашин, сидя рядом, отрывисто и как бы нехотя, невнятно говорили о чём-то. Но Слободской, должно быть, устав молчать, пробормотал в бороду себе:

– А этот, чахлый, всё про школу.

– Тепло любит, – откликнулся плотник Баландин.

– Учит, а чему? – спросил Кашин. – Каля-маля, кругла земля. «Зубы, дёсны крепче три и снаружи и внутри».

– Нас учили про птичку божью читать, – вспомнил староста. – Дескать – «не знает ни заботы, ни труда».

Батрак Слободского, красивый, скромный парень, сказал:

– Считать учат.

– Считать всякий сам научается, – строго выговорил Кашин. Кто-то поддакнул ему:

– Это верно. Я в цирке собаку видел – считает!

– Значит, решили, – заговорил Ковалёв, – ставим быка на содержание Данилу Петрову. За корм возместить ему придётся. Баландин хлевишко соорудит. Так, что ли?

– А как иначе? – откликнулся плотник. – Самое правильное.

Человека три встали с брёвен, побрели в разные стороны.

Слободской искоса посмотрел на них и, снова опустив голову, сказал в землю:

– Помрёт скоро учитель, кровью харкать начал.

– Ребятишки рады будут.

– Нет, это – напрасно!

– Им, дьяволятам, лишь бы не работать, а учиться они охочие.

– Они Досифея уважают.

– Сказки рассказывает им.

– Уважать его не за что, – решительно заявил Кашин. – Да и вообще дети уважать – не могут, не умеют.

– Эхе-хе, – вздохнул Баландин и позевнул с воем, а затем скучно выговорил:

– И учён, да не богат, всё одно наш брат, нищий.

Но хотя говорили об учителе, а думали о другом, и Никон Денежкин, первейший в деревне пьяница и буян, выразил общее желание, сказав:

– Могарыч с тебя надо, Данило Петров. Ставь четвертуху!

– Это за что? – очень искренно удивился Кашин, похлопывая ладонью по крупу быка.

– Уж мы понимаем за что!

– Я, значит, должен питать, охранять общественное животное, да я же и водкой вас поить обязан?

– А ты не ломайся, – сердито посоветовал Денежкин. – Нас тут семеро, давай три бутылки и – дело с концом.

Ковалёв, немножко нахмуясь, спросил всё-таки ласковым голосом:

– Народ спросит: какая причина выпивки?

– Чего там – причина? Захотелось, ну и выпили.

Батрак Слободского и Баландин пытались привести быка в движение, батрак толкал его в бока, плотник дёргал верёвку, накинутую на рога. Бык стоял, точно отлитый из чугуна, только челюсти медленно двигались и с губ тянулась толстая нить сероватой слюны.

– Паровоз, – пробормотал Слободской и, подняв с земли щепку, швырнул её в морду быка, а Денежкин ударил его ногой в живот, тогда бык не громко, но густо и очень грозно замычал, покачнулся, пошёл.

– Ну и чёрт! – одобрительно сказал Кашин, хлопнув себя руками по бёдрам, притопнув ногой.

Денежкин отправился за водкой. У избы старосты осталось четверо; он скручивал папиросу, рядом с ним сидела Марья Малинина. Слободской, согнувшись, озабоченно ковырял палочкой землю, а Кашин лежал вверх спиной на брёвнах и глядел за реку; оттуда веяло сырým холодом, там опускалось солнце, окрашивало пятна снега в розоватый цвет, показывало вдали башню водокачки железнодорожной станции, белую колокольню, красный, каменный палец фабричной трубы. Тихонько, но напористо струился сухой, старушечий говорок Малининой.

– А дифтерик из Мокрой к нам перескочил, Яков Михайлыч...

– Перескочил? – спросил Ковалёв. У него не свёртывалась папироса, он был очень занят этим и спросил из вежливости, равнодушно, как эхо.

– И у меня такая думка, что это Татьяна Конева занесла, по её вдовьему горю.

– Не ладишь ты с Татьяной!

– Зачем? Мне с ней делить нечего. А известно мне, что она водила в Мокрую Катюшку с Лизкой прощаться с двоюродным и, наверно, потёрла своим ребятишкам глазки, личики рубашечкой с мёртвенького, – говорила Малинина, точно сказку рассказывая.

– Не верю я, чтобы матери детей нарочно заражали дифтериком, – сказал Ковалёв, отхаркнулся и плюнул с дымом.

– Бывает, – кратко и веско откликнулся Слободской, а Данило Кашин живо подтвердил:

– Бывает, я знаю! Марья сама эдак-то травила ребят.

– Ну, это – шутишь ты, и нехорошо. Я чего не надо никогда не делывала и не буду, – спокойненько говорила Малинина, роясь правой рукой во многих юбках, надетых на её кругленькое тело. Нашла в юбках табакерку, понюхала табаку и подняла лицо в небо, ожидая, когда нужно будет чихнуть, а чихнув, продолжала:

– Я опасного боюсь! Я ведь знаю, доктора преследуют матерей, которые дифтерик прививают детям. Это, дескать, самоубийство детей. Однако и матерей надо понять – пожалеть. У Коневой – четверо, мал мала меньше, а от мужа всю зиму ни слуха ни духа. Четверых милостыней не прокормишь.

Ковалёв отодвинулся от неё и строго заговорил:

– Ну, а ты чего? Захворали дети Коневой? Иди, лечи! Чего ты сидишь?

Старушка вытерла рот концом шали и, не повышая голоса, ответила:

– Я дифтерик лечить не могу, я только русские болезни лечу, а дифтерик – аглицкая. А твоё дело – сказать уряднику про Коневу...

– У неё задача – Коневу истребить, – добродушно сказал Кашин. Старушка немедля ответила:

– Конева для меня – тьфу! – и, плюнув на землю, притопнула плевком.

– Ты иди-ка, иди, – настаивал Ковалёв. – Что тебе тут сидеть?

– Улица для всех, – объяснила Малинина и пересела на брёвна, рядом со Слободским.

Он, не глядя на неё, сказал:

– Язва ты.

– Денежкин идёт, – сообщил Кашин, вставая на ноги. – Айда в избу к тебе, Яков... Огурчиков дашь?

– Можно.

Трое мужиков ушли во двор старосты. Марья Малинина посмотрела в розовое небо, на шумную суету галок, подождала, когда во двор прошёл Денежкин, встала и, погрозив избе старосты маленьким кулачком, пошла вдоль улицы мелким, быстрым шагом.

Кашин немедленно начал строить хлев, а быка отдал на присмотр и попечение пастуху, нелюдимому, зобатому старику с большой лысой головой на узких плечах, с выкатившимися глазами на лице синеватой кожи, спрятанном в густой, курчавой бороде. Борода у него росла от ушей к подбородку густо и ещё не вся поседела, а на туго вздувшемся зобе волосы были какие-то бесцветные, разошлись редко, торчали вперёд, и от этого казалось, что у старика на шее – другая голова, обращённая лицом в нутро груди, выставившая наружу красный затылок. Некоторое время пастуха так и звали Двуглавый, но становой пристав, узнав об этом, рассердился.

– Идиёты! – закричал он. – Двуглавый-то кто у нас? Государственный орёл, священный знак государя императора, черти не нашего бога!

Он приказал:

– Забыть и не сметь!



Взрослые забыли, но ребяташки помнили прозвище пастуха, и за это им давали подзатыльники, драли за уши, волосы. Два раза в день по улице Краснухи появлялся бык, почти вдвое более крупный, чем любая корова стада. Его мощная туша, медленный барский шаг, бархатистый лоск его шерсти, жирный огузок, важное покачивание огромной, желторогой башкой, весь он очень плачевно оттенял малорослость деревенского стада. Бабы, девки не любили его, и многие из них, выгоняя коров со двора, хлестали быка хворостинами, колотили палками, покрикивая:

– У-у, дьявол!..

– Дармод!..

Обычно стадо гоняли за реку; в широком её месте был хороший, мелкий брод. Но стояло половодье, стадо паслось по жнивью, где по частым межам не щедро прорастало кое-что зелёнькое и где лошадные хозяева уже начали пахать. Отощавшие за зиму коровы тщательно и жадно выщипывали губами молодые побеги сорняков, а бык, должно быть, считая этот нищенский корм оскорбительным для себя, стоял монументом или медленно переходил с места на место, источая на землю голодную слюну. Изредка он мычал глухо и обиженно. Пастух сказал Кашину:

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.